

Лев АННИНСКИЙ

Освобождение из Вавилонской башни, или Русский язык и нерусские литературы

Курьезность моей темы по нынешним временам видна из анекдота: «Кто такой Пушкин?» — «Великий *русскоязычный* поэт».

Бредовый и оскорбительный оттенок этого слова — порождение нынешней эпохи, эпохи «гласности», встречных суверенитетов, национальных амбиций и всеобщего размежевания, идущего «поверх» культуры, «сквозь» культуру и «вразрез» с культурой. «Русскоязычный» — это теперь не определение, это знак. Вызов.

Между тем слово это (которого в русских словарях по сей день нет — ни в толковых, ни в орфографических) появилось не теперь, а лет десять-пятнадцатью назад, в разгар растреклятого «застоя». И означало, оно по смыслу не совсем то, а по настроению совсем не то, что сейчас. Оно означало, вернее, обозначало тот интереснейший факт текущей истории советской литературы, что в 70-е годы многие писатели из республик перешли на русский язык. Назову несколько имен: Чингиз Айтматов, Ион Друцэ, Василь Быков, Анар.

Напрашиваются комментарии. Во-первых, это все — крупнейшие писатели, гордость и слава своих народов, что называется, «этнархи». Во-вторых, они перешли на русский язык вовсе не из-за трудностей писания на родном языке — все они были его мастерами и успели написать — Айтматов на киргизском, Друцэ на молдавском, Быков на белорусском — произведения, вошедшие в хрестоматийный фонд этих литератур. То есть они не «пребывали» в русском языке изначально, а именно *перешли* на русский, в результате *решения*. Некоторые из них, подобно Набокову, «крейсировали» из нерусской речи в русскую и обратно; так, Виктор Козько, уехав в Сибирь и начав писать повести из сибирской жизни, перешел на русский, а возвратившись в Белоруссию и к белорусской тематике, вернулся в белорусскую речь. В-третьих, такие «крейсерские» рейсы из языка в язык не отменяли твердого (и важнейшего) ощущения, что, перейдя в русскую речь, эти глубоко национальные по духу писатели отнюдь не переходили в «русский дух», а продолжали созидать в стихии русского языка духовные миры своих народов: киргизского, молдавского, белорусского, азербайджанского... Точно так же, как изначально пишущий по-русски Анатолий Ким продолжал чувствовать себя корейцем, а Тимур Пулатов — узбеком, а Олег Клинг — немцем, а Юрий Карабчиевский — евреем...

Этот феномен, обративший на себя особое внимание в 70-е годы,

конечно же, требовал объяснений. Тогда-то его и назвали словом «русскоязычие», придав слову оттенок термина. И слово это вошло в круг живого обмена идеями, причем без всякой изначальной оскорбительности. Оскорбительность у этого слова появилась недавно, в эпоху гласности и «парада суверенитетов».

Откровеннее всех мотивы такого «русскоязычия», более или менее общие для всех втянутых в него писателей, объяснил Олжас Сулейменов — казахский поэт (казахский по темам, по пафосу, по крови, наконец), пишущий по-русски (выросший в русской среде, а точнее, в среде лагерников и ссыльнопоселенцев), и, стало быть, человек классически «русскоязычный» (вернувшись из «лагерной России» в родной Казахстан и уже став всесоюзно признанным поэтом, он выучил казахский язык, но, конечно, «русскоязычным» от этого быть не перестал).

Он заявил примерно следующее:

Русский язык для нас — стартовая площадка при выходе на мировую арену. Если казах хочет, чтобы его прочли во всем мире, его тексты должны существовать на русском языке.

Я говорю это не затем, чтобы включиться в нынешний спор о том, насильственно или не насильственно распространялся русский язык в республиках в пресловутый период «застоя», я думаю, что лукав и ложен сам предмет такого спора, факт же спора граничит с самопровокацией. Ибо только *личность* решает, на каком языке ей общаться с миром и сколько сил в это вкладывать. Я говорю о другом: о том, что еще десять-пятнадцать лет назад русский язык воспринимался вовсе не только как русский *национальный* язык, но и как язык *межнационального* общения, или — если употреблять термин времен всемирно-коммунистической эйфории — как язык *зональный*, претендующий стать одним из *мировых*.

Национальному самовыражению это не противоречит. Случилось же так, что в лоне средневековой латыни выразили себя и накопили свои качества европейские национальные души — будущие нации. И не удивляет же нас, что в лоне английской речи выражает себя сейчас отнюдь не только английская душа, но и американская, и канадская, и австралийская, и индийская, и даже Душа народа Ганы. А это все очень разные варианты национальной самобытности. Или возьмите испанский язык: сколько разных национальных культур сформировалось в его лоне, помимо культуры испанской, — целый латиноамериканский континент!

Отчего ж и не думать было об аналогичной роли русского языка — эта роль реально осуществлялась. Десять-пятнадцать лет назад это не вызывало сомнений. Даже еще и пять-семь лет назад.

И вот все переменялось, все перевернулось. Русский язык — мишень в странах, освободившихся от «коммунистической тирании», в советских республиках, борющихся за суверенитет. Формально это абсолютно справедливая, аптекарски справедливая акция: а почему, собственно, русский язык должен быть в особом положении?! — убрать его из числа обязательных дисциплин в школах и университетах, поставить его в ряд с прочими иностранными факультетами: кто хочет, пусть изучает русский, кто хочет — испанский, или английский, или португальский, или турецкий — все поровну, все справедливо. Остальное — вопрос техники: русские учителя не у дел; русские учебники выбрасываются из библиотек; русские книги сжигаются за ненадобностью.

Что делать: было время, *мы* сжигали евангелия, сжигали «буржуазную литературу»; теперь горит то, что нам дорого. Все справедливо.

Самое страшное в этом процессе наведения справедливости — «низовые» массы переносят свою ненависть к «оккупантам» и «мигрантам» на Пушкина, на Толстого, на Чехова, маятник идет в обратную сторону. Интеллигенция, с самого начала разжигавшая и возглавлявшая эти

национальные движения, создававшая народные фронты увидя какой грубостью оборачивается борьба, отшатывается от них (как отшатнулся Мераб Мамардашвили от победившего грузинского оппозиционного фронта, как отшатнулся Витаутас Петкявичюс от победившего в Литве «Саюдиса»), национальная интеллигенция пытается сохранить, спасти культурные и духовные связи с Россией, с русской культурой. Но тектоническая мощь двинувшихся народных слоев диктует свое — откалываются края бывшей империи, рвутся связи, горят книги, кровоточат души. Разваливается Вавилонская башня. Русский язык — в критическом положении.

Он в критическом положении по обеим своим традиционным функциям: и как язык межнациональный (т. е. «зональный», или, если угодно, «имперский», один из «мировых» языков), и как язык национальный (т. е. язык русской нации и русской культуры).

Что касается первой функции, то сегодня, по трезвому осмыслению, видишь и впрямь, что в качестве универсального коммуникативного средства общения русский язык далековат от идеала. Он труден, изменчив, малоуправляем. В нем индивидуальная манера слишком прева­лирует над нормой. В нем мгновенные смены настроения выражаются лучше, чем константные смыслы. В нем суффиксы важнее корней слов. Это язык скорее эмоциональных состояний, чем твердых значений. Он контекстен, податлив, непредсказуем, ситуативен, коварен. В этом его прелесть, в этом и слабость. Вспомните Набокова: «... моя аппаратура... каверзное зеркало, черно-бархатный задник, подразумеваемые ассоциации и традиции...». То есть непременно: таинственная тьма, каверзность, подразумеваемые невидимые смыслы. Русский язык идеально приспособлен к таким задачам. Тот же Набоков в известном постскриптуме к русскому изданию «Лолиты», сравнивая русский и английский тексты, пишет: «Телодвижения, ужимки, ландшафты, томленье деревьев, запахи, дожди, тающие и переливчатые оттенки природы, все нежно-человеческое (как ни странно!), а также все мужицкое, грубое, сочно-похабное, выходит по-русски не хуже, если не лучше, чем по-английски... свойственные английскому языку тонкие недоговоренности, поэзия мысли, мгновенная переключка между отвлеченнейшими понятиями, роение одно­сложных эпитетов... все, относящееся к технике, модам, спорту, естественным наукам и противоестественным страстям...»¹.

Истинно так: русский — это все нежно-человеческое и все дико-человеческое, т. е. все непредсказуемое, неуправляемое, неуловимое и невменяемое. Отсчет — от тайны.

Английский — это не просто другие качества, это другая ментальность. Это недоговоренность, однако отсчитывающая от внутренней ясности мыслимого и проговариваемого, это переключка далекого, однако точно промеряемого, это экспрессия противоестественного, однако точно соотносимого с естественным. Отсчет — от реальности.

Джордж Оруэл в своем знаменитом эссе об англичанах отмечает две черты английского языка, обеспечивающие ему колоссальное поле деятельности далеко за пределами Англии: простоту грамматики и простоту наращивания словарного состава. Это та изначальная ясность, которая позволяет бесконечно расширять фронт и беспредельно наращивать коммуникативные возможности, охватывая все: от Индии до Канады и от тончайшей лирической поэзии до грубого газетного заголовка. В основе — ясность, точность, фиксированность.

Прелесть русской речи — неясность, неточность, нефиксированность. Тайна непредсказуемости, «черный бархат задника» за словами. Мистика

¹ Набоков В. Лолита, 1989, с. 358.

размытости. Игра мгновенных настроений. Нестроение смыслов. Вывороты значений. Несобранные вертикали Вавилонской башни. Художественный эффект.

Лингвистически говоря: колоссальный, против нормы других языков, перевес оценочных смыслов над определительными. Житейски говоря: игрище импровизаций. Гульбище влияний, веяний и ответов на влияния и веяния. Не будем выяснять, что тут первично, а что вторично: судьба ли русского народа, обреченного историей сводить несводимые концы на Евразийской равнине, сделала русский язык таким непредсказуемым или особенности языка, сложившегося на славянской базе и колоссально обогащенного (и расшатанного) финскими, тюркскими, латинскими, германскими и прочими воздействиями, помогли ему стать языком огромной, многонациональной, пестрой Российской империи. Выяснить, что тут причина, а что — следствие, дело гадательное. Это все равно, что спрашивать, какой характер выработался бы у татар, литовцев или поляков, претендовавших в разное время (в противовес русским) на роль объединителей этой «шестой части суши», случись им на эту роль попасть. Скорее всего, у любого из этих народов выработался бы «русский характер»: эмоционально непредсказуемый, лишенный чувства меры, сочетающий адское терпение с адской же взрывной неудержимостью. Может быть, и польский язык (или литовский, или татарский) — случись ему оказаться распятым на таких исторических «пяльцах» — пошел бы полосами от перенапряжения, и теперь стоял бы вопрос о том, что же это такое за язык: международный ли волапюк для «межнационального общения» или национальный язык *конкретного народа*, да ведь надо еще, чтобы конкретный народ не исчез, не растратил бы себя без остатка на «имперские задачи» и чтобы он не спрашивал себя и весь мир: а кто такие русские? А есть ли они вообще? А в чем их «русскость»? А что, их «всеотзывчивость», их способность отдавать себя *и есть* их исчерпывающее качество? Применительно к татарам и литовцам все эти выкладки совершенно абстрактны, но применительно к русским они реальны, грозно, смертельно реальны: выходит, в том наша судьба, чтобы быть всеобщим эхом, скрещивать влияния, соединять то с этим, Запад с Востоком, темную бездну со светлой, — а где же *корень русскости*, он есть ли? Или остался там, в Карпатах, откуда сошли когда-то славянские племена в днепровскую долину, в восточноевропейскую равнину, на эту плоскость, где ожидало их: с запада — германское методичное давление, с востока — татарские степные набеги, с севера — таинственное лесное финское «сиденье»?

У нас теперь ходит присловье: литовец — это национальность, еврей — это клеймо, а русский — это судьба.

Что же, с судьбой не поспоришь. Если судьба нам теперь (нам, русским, т. е. «тем, которые здесь смешались») разгородиться и расстаться, примем достойно и этот жребий. Не судьба русскому языку быть языком «зональным», «межнациональным» — значит, не судьба. Пусть будет национальным.

Драма-то в том, что и в этой сфере — кризис: в сфере внутреннего бытия, где русский язык функционирует как фермент и базис национальной культуры.

Прежде всего: размываются традиционный строй и состав русской речи. Напирает «новояз», рождающийся в бюрократических коридорах русской власти и на орущих площадях русской воли, происходит дальнейшее «смешение языков», доходящее до стадии тотального охамления речи. Чуткие писатели, видящие этот низовой процесс, стоят перед дилеммой: отдаться ему или упереться?

Отдаться — значит отдать язык во власть «макаронического» полосоания, которым оборачивается податливость русского языка.

Будем, однако, отличать артистические находки мастеров от того размыва языковой почвы, от того смешивающегося мусора, в наносах которого они ищут свои перлы. Василий Аксенов может переименовать город Вашингтон в город Нашингтон, точно так же, как Владимир Войнович может перекрестить Мюнхен в Мухин, а Александр Солженицын, соответственно масштабам своих задач, может вырабатывать для пророчеств и особый русский словарь, и даже особые правила грамматики. Чем крупнее мастер, тем больше ему дозволено Богом и природой, но я веду речь о другом: о размыве русской почвы. О вульгаризации того слоя, в котором язык бытует и развивается. «Гирла» — это что такое? Это не английский и не русский, это, как сказал бы Гоголь, черт знает что такое, и куда нас черт ведет, вряд ли ясно сейчас и самому черту. Так что же, упереться? Но на чем? На архаике, на законсервированной русской деревенской речи, которой в реальности не услышишь сегодня ни в опустелой деревне, ни в переполненном городе? Русский литературный язык, зажаты между авангардными горячими «фронтами», идущими с Запада, и замерзшей «твердыней» беспросветного провинциализма, находится в ситуации достаточно критической, чтобы поставить вопрос: что же дальше? Конец культуры? Перерождение языка? Сворачивание поля его действия?

Чтобы обсуждать подобные фундаментальные вопросы, сегодня приходится покидать сферу филологии, и даже шире — сферу культурологии вообще. Надо обращаться к социопсихологической реальности, сотрясаемой кризисами.

Чисто культурные ресурсы у нас по-прежнему огромны: традиции, классическое наследие, колоссальная инерция воздействия, неотменимые межнациональные связи, наконец, талантливость народа... Но будут ли эти ресурсы приведены в действие? И кем?

Кризис культуры налицо. В связи с распадом империи это прежде всего — кризис контекста. Как ни странен, как временами ни искусствен был контекст «многонациональной советской литературы», где эстонцы встречались с туркменами, а украинцы с чукчами, но этот контекст существовал, и он был не более причудлив, чем, скажем, контекст латиноамериканской культуры, смешавшей некогда еще более невообразимые испанские, индейские и негритянские элементы. Смешно, разумеется, в эпоху Гарсиа Маркеса «сепарировать» эти элементы друг от друга, но мы-то в СССР переживаем как раз эпоху «сепарации». Приходится отвечать на вопросы, задаваемые реальностью, и главный вопрос в том, что под вопросом контекст — контекст «советской культуры».

Вне контекста культура существовать не может, как и язык вне диалога, а в какие контексты попадут литературы бывшего советского ареала; выпав из сферы притяжения русского языка, неясно. То есть, ясно *в какие* контексты, но не ясно, *чем* это обернется. Чем обернется для эстонской литературы финско-скандинавский, а в потенции — германский контекст (германский прессинг — источник такого же перманентного кошмара для эстонского сознания, как и русский прессинг, и что страшнее, они еще не решили). Чем обернется для молдавской литературы контекст румынский (а в потенции — французский)? Как минимум тем, что это будет кризис молдавской литературы как *молдавской*. Чем обернется *исламский* контекст для культуры татар, туркмен или таджиков? Новой интеграцией? И, наконец, в каком контексте окажется сама русская литература и сопредельные с ней украинская и белорусская? Эта ситуация наиболее тонка и болезненна, ибо не ясно, чем обернется попытка восточнославянских литератур, «обреченных» на общий контекст, разде-

литься и обособиться друг от друга: для любой из них любой вариант этого процесса полон драматизма. Вот модель конфликта.

Блистательная статья белорусского публициста Владимира Орлова в журнале «Век XX и мир». Пафос статьи — независимость. Перед нами цепочка картинок, иллюстрирующих мечту белоруса о независимости от русских. Одна из картинок такова:

«Независимость — это когда ты будешь студентом, и на лекции по высшей математике твой смуглый ровесник с Мадагаскара, который учится на деньги своей, а не твоей страны, наклонится к тебе и по-белорусски спросит, что значит слово «імавернасьць», и ты по-французски объяснишь ему, что это слово значит»².

Картинка, конечно, яркая, но если уж Орлов так прислушивается к чувствам «смуглого ровесника с Мадагаскара», то для полного удовольствия надо было бы поговорить с тем не по-французски, а по-малагасийски, ибо французский для малагасийца приблизительно то же, что русский для Орлова. За все надо платить. В том числе и за лекции по теории вероятности на родном языке.

Итак, на французский белорус Орлов перейти согласен, а на русский — нет. На малагасийский — тоже нет, но по другой причине. По какой именно, не трудно догадаться: если все начнут говорить по-своему, что ж это будет? Вавилон? «Балканизация» языкового пространства? А может, по нынешним временам, — «ливанизация»? Конец общения? Так стоит ли теорию вероятности переводить с французского на малагасийский? Нет, не стоит, убежден Орлов. А с русского на белорусский?.. Межнациональные языки *все равно* будут, и то, что белорус «согласен» на французский, свидетельствует только об одном: о том, как велика степень его неприятия русской языковой экспансии.

Чтобы закончить насчет «зональных» языков, М. Мамардашвили, с которым мы обсуждали увлекательную перспективу вавилонского смешения языков в дробящейся суверенитетами реальности, отметил, что смешения не будет, и объяснил, почти пожав плечами:

— Но это же очень просто: надо *договориться*, какой язык будет общим, и *выучить* его. Как договорились в XVII в., что общеевропейским языком будет французский.

Ответ интеллектуала.

Интеллектуалы, конечно, договорятся, выучат. Скорее всего все-таки английский, но, может быть, и французский. Или немецкий. Но вряд ли русский. Надо ли петь отходную? Не надо. Слава Богу, судьбы культур и языков зависят не только от сознания интеллектуалов, но более всего от бытия тех пластов народа, которые должны питать культуру и ее использовать.

Возвращаясь к «русской теме», я возвращаюсь к той реальности, которая может либо спасти, либо погresti в будущем русскую культуру. Она возникла — великая русская культура — и осуществилась как часть всечеловеческой культуры именно потому, что «все сюда устремились», все «захотели быть русскими», и все *становились* русскими: потомок татар Тургенев, потомок эфиопов Пушкин, потомок шотландцев Лермонтов, потомок литовцев Достоевский, потомок немцев Толстой. Теперь процесс обратный: все «бегут с этого места», «не хотят быть русскими», вымываются, отделяются — «спасаются в одиночку».

В основе, в фундаменте этого разбегания — трагический (для русских) процесс опустения земли. Башня кренится — над пустотой. В русской земле запустение, земля брошена, некому пахать, некому собирать, некому кормить культуру, некому кормиться культурой: пусто.

² Орлов В. Независимость — это на уик-энд в Вену «Век XX и мир», 1990, № 10, с. 35

Пока в этой точке не изменится реальность, дело культуры плохо; т. е. пока не вернется на землю русский человек, под вопросом и настоящее русской культуры, и ее будущее, а о мировой ее роли и говорить нечего.

Так вот, самое страшное мое ощущение: не хочет возвращаться на землю русский человек. Не хочет земли. Уже и власть ему ее навязывает — не берет.

В чем дело? В последствиях сталинской коллективизации? Думаю, дело глубже. И страшнее (в смысле неповторимости). Это наша тысячелетняя психология: земля *ничья*, земля *всехняя*. Какая тут связь с культурой? Обратно пропорциональная. И жесткая.

Чем менее охотно берет русский человек в собственность *данный* клочок земли, тем более охотно объявляет он своей неотъемлемой собственностью *всю страну*, и это столкновение *абстрактных* прав на землю с нежеланием *конкретно* делить эту землю и обрабатывать, эта связь, эта обратная зависимость любви к Земле и равнодушия к куску земли — настоящая трагедия и русских, и всех повязанных с ними народов, населяющих Советский Союз.

Вот вам еще одна модель. В центре России пустует брошенная земля, некому строить дороги, некому строить дома, некому жить.

Приезжают строители из ... не хочу «мусолить» чье-то конкретное имя, а вслед за Семеном Липкиным воспользуюсь именем вымышленным: приезжают с севера или юга «навербованные»... гушаны. Строят дороги, строят дома. Остаются здесь дальше строить и жить. Законно? Законно. К ним сюда, в новый гушанский поселок приезжают из Гушании родственники и знакомые, ибо там, в Гушании — перенаселение и работы нет, а тут — русская пустошь, и работа есть, а работать некому. Хорошо. Приезжают, селятся, работают. У них вырастают дети, детям нужны детские сады, потом нужны школы, институты. Потом нужны газеты, нужно издательство, чтобы выросшие дети могли читать на родном языке. Все законно? Все.

Дальше. Нужен орган власти — управлять жизнью «малого народа», оказавшегося в отрыве от «большого», но, естественно, не желающего терять национальное лицо. Все законно? Все. Автономный район — автономная область — автономная республика... И желание связей со своей исторической родиной: связей культурных, административных, государственных — законно? Так почему же, когда они в конце концов говорят «*земля наша*», — это незаконно?

Где подвох? Где надо остановиться? Запретить людям переезжать, жить там, где они хотят, работать там, где работа есть? Смешно, глупо, да и жестоко. Но тогда где, как спастись от всеобщего озлобленного крика: «*Это наша земля*»? Значит, в основе ложь?

Галина Старовойтова выстраивает здесь дихотомию: *или* суверенитет государственный, *или* суверенитет национальный. Первое, с ее точки зрения, химера, второе — реальность.

Может быть, и реальность, добавлю я, да что-то сильно кровавая. Колесо замыкается: там, где не берет землю *личность*, там берет землю нация: родовой миф, проглатывающий личность. И уже нет выхода; начинают высчитывать, кто когда поселился на «святой земле», и для кого она более свята: турки здесь просидели четыреста лет, а арабы — тысячу четыреста, а евреи — три тысячи четыреста... Простите, но ведь и Авраам, из Ура Халдейского сюда пожаловав, кого-то отсюда согнал...

И стало быть, есть только один путь избавить от безумия *нацию*: если все на себя возьмет *личность*.

Но что такое право личности? Это значит, владеет землей только тот, кто способен *сейчас* ею владеть, ее обрабатывать, за нею ухаживать. А если не способен? Ну, тогда не взыщите: придет более умелый, более сильный. А если с другим цветом кожи? Придется стерпеть и это: как терпят белые и то, что негры переселяются в Вашингтон, и что индусы — в Лондон, и, разумеется, то, что японцы покупают Голливуд. Свобода так свобода — терпите.

Американцы, кажется, и терпят.

Мы, русские, не терпим. У нас в крови другое. Земля — ничья, она общая. Владеть ею можно только «всем миром», тотально. Это не диктат «сверху» — это диктат «по кругу»: образ жизни.

Как это проецируется в культуру, в язык?

Простейшим образом.

Если имеет право *каждый*, то никаких гандикапов никакому языку не будет: говори и пиши, на каком хочешь. Если ты в Америке хочешь быть итальянцем — пожалуйста, твое право: говори. Посмотрим, кто тебя поймет. Нет, ради Бога: живи в итальянском квартале, в «Little Italy»; но если ты выходишь в *американскую* действительность, то дальше опять-таки твое личное дело, как быть: можешь говорить на *плохом* английском, а можешь и на *хорошем*, твое дело, что ты выберешь.

А в России — разве личность выбирает что бы то ни было? Община выбирает, общество, государство. Русские — это судьба: всех несет потоком, и всех поток спасает от ответственности. И никакого «свободного соревнования» языков — война. Война суверенитетов, война государственных языков, война культурных наследий; слово — национальное оружие; культурное наследие — национальная собственность; Нобелевская премия — доход в копилку национального престижа.

Увы, мы живем в *такой* реальности, и другой у нас пока нет. И потому, как во всякой «драке», я отказываюсь предсказывать исход той ситуации, в которой находится сейчас русский язык и те «нерусские души», которые себя в нем выражали, а теперь от него отбиваются.

От ситуации и не надо зависеть. Есть старое присловье: черт — свое, поп — свое. Есть старое правило русской интеллигенции: они свое дело делают, ты — свое. Башни рушатся, Вавилоны возводятся и рассыпаются, люди остаются. При *любом* исходе *любого* дела миссия интеллигента неотменима: искать *смысл* в том, что произошло.

Вот и будем искать.

Хотя если бы «что-то произошло» с русским языком, то это означало бы лично для меня конец моей осмысленной деятельности.

Тогда смысл произошедшего пришлось бы искать другим.

И башни достраивать — тоже.